Алексей КОЛЕСНИКОВ

РАССКАЗЫ

Посвящается Синчугову Никите

НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ

Прошлой осенью я снимал квартиру рядом с общагой, в которой живут строители. Целая общага строителей, многие с семьями там живут. В детстве я собирал майских жуков в пачку из-под сигарет. Жукам жилось там темно и тесно. Ну, вы поняли, в общем.

Знаете что-то о строителях? Я знаю. Мне приходилось летом работать на стройке. Школу строили. Знаете, заработанные там деньги не хочется тратить. И в волосах ног всегда комочки застывшего раствора. Меня, короче, хватило на два месяца всего лишь. В общем, я знаю строителей. Быт их.

Они работают с утра и до заката, трудятся почти без выходных. Нужно же спешить потому, что для стройки часто непригодна зима. Вот они и вкальвают с утра до вечера, как солдаты во время наступления. Это смерть, а не темп. Вы привыкли думать, что они там алкаши все, а им бухать элементарно некогда. Когда им пить, если у них на сон семь часов только и есть? Один выходной — воскресенье. Лежишь на диване и радуешься, что пульт от телевизора весит меньше ведра с песком. Это если есть телевизор, конечно. И если есть пульт к нему.

Так вот, по поводу строек этих. Строители не работают в те дни, когда идет дождь. Утром проснулся, выглянул в окно и понял — выходной. Для верности прорабу позвонил — он подтвердил: «Да, выходной, мужики. Отдыхайте».

Радоваться, кстати, нечему. Этот день не оплачивается. Так можно неделями без заработка сидеть. Жены строителей не любят дожди, но там дело не только в убытках.

Знаете, что делают строители во время дождя? Они много пьют, собираясь на кухнях. Пьют дешевую водку, закусывают чем-то жареным. Музон слушают и сами песни орут. В телевизор плюются, если он есть.

Помните, прошлой осенью шли бесконечные дожди. Я наблюдал за строителями. Они напорются там у себя, в своих кухнях, а потом выходят на улицу. Курить будто. А сами не за этим. Они выходят, чтобы как следует подраться. Они Поланика не читали и Финчера не смотрели — это я как *инженер человеческих туш* вам гарантирую. Мужики просто вымещают в драках какую-то свою почерневшую часть. Какую-то гниду души. Люди вообще ненавидят друг друга. Я сам многих ненавижу. Кровавые мальчики иногда и все такое. Ладно, речь не обо мне, а о строителях во время дождя.

Представьте, если еще умеете, следующую сцену. Серая общага. Окна, окна, окна. Почти не бывает штор. Дверь подъезда без всяких домофонов — любому рады. Вот стоят возле этой двери пятеро. Примерно одинакового возраста, и look у них одинаковый. Короче, арт-хаус русский про утраченную духовность. Дождь холодный тянется

Алексей Юрьевич Колесников родился в 1993 году в п. Ракитное Белгородской области. Образование — высшее юридическое. Публиковался в журналах «Новый берег», «Вопросы литературы». Живет в Белгороде.

с неба, пот на лбу как сперма, отрыжка, перегар. Лужа у самой двери. Они вокруг этой лужи. Харкают в нее желтыми соплями. Спорят.

Держат совет, трут за свои дела, ржут на полгорода. Машины мимо проезжают, студенты проходят, студентки, одетые как подтанцовка в клипах. Мужики на этих студенток пялятся, злятся, вспоминают неласковых жен.

Все, естественно, пьяные. Но пьяные привычно. Как всегда. То есть их состояние не является экстраординарным. Могут выпить еще, а могут и нет — от настроения зависит. Говорят о делах на стройке, об украинцах, о том, что Путин гордость вернул, но чаще, конечно, о прошлом. Байки всякие, приколы, вранье. О детях иногда и о женах. Вот эта тема у них самая скользкая. (Тут как новость про митинг — опасно, но нет сил терпеть.) Мужики чувствуют грань, но порой перегибают, и начинается стихийный бой. Шучу. Конечно, никакой он не стихийный. Они и вышли для этого — я опытный зритель.

Для иллюстрации возьмем моих любимчиков. Леха и Андрей. Леха справа, а Андрей слева. Леха в спортивных штанах с лампасами, голый по пояс и в туфлях на босу ногу, а Андрей такой же, только еще в байковой рубаше, расстегнутой на пять пуговиц вниз. Рубаша заправлена плохо в штаны и парусится от ветра.

Леха кричит, истерит всегда, как женщина, — это он на публику работает. Развлекает толпу. А Андрей боится драк. Он говорит: «Ну че ты? Че ты?» — и за руки Леху хватает у локтя. А Леха и сам побаивается, поэтому ждет, пока Андрей ударит первым. Матерятся смешно, слова одни и те же повторяют. Ну, допустим: «Ты мне это сказала?! Ты мне это сказал?!» Это Леха, к примеру кричит, а Андрей молчит и целится. Пытается хитрить.

Кто-то из гладиаторов решился, и наконец-то удар! Оплеуха такая, что до моего уха доносится звук: яйцо вареное лопнуло. Это там у Андрея в голове что-то крякнуло, скорее всего. От первого удара никто не падает. Удары то слабые, пьяные. Поэтому Андрей тоже успевает в Леху попасть, задеть его из-за уха, «по-деревенски». Молчаливые зрители не разнимают, потому что «мужики должны сами все порешать». Разобраться.

В общем, бьются они так минут десять. А потом или расходятся сами после долгого клинча, или их растаскивают недовольные вялотекущим поединком. Мирятся потом. Скидываются и пьют. Вместе бьют кого-то после. Дерутся заново между собой. Иногда женщины вступают в потасовку. С ними там никто не церемонится. Демократия и феминизм.

Я опытный зритель. Я видел множество драк. Удивляюсь, что никто с меня не брал плату за трансляцию. Как дождь — там пьяные войны. И крики, маты, вопли. Жены эти в халатах: «Андрей не надо! У тебя же УДО!» Пьяная, побитая общая, надоевшая экипажам «Скорой помощи». Я видел, как курит водитель, а врачи тащат расслабленное тело в машину. И никогда не приезжают менты! Менты ловят тех, кто курит в общественном месте, а строители на штрафы плюют.

Мне их так жалко всегда было, этих строителей. Я смотрел на них и мечтал, что смогу придумать нечто, что остановит это свинство. Ведь нельзя разрешать людям так жить. Так умирать. Это ж люди. У них мамы есть и были мечты. Ведь это они построили все офисы, школы, магазины. Дом, из которого я смотрю на них.

Наблюдая, я ругал все сущее, мечтал о переменах, себя стыдил за бесполезность. Часто тоже пил. Короче, всю осень они мне испортили.

Вспомним ту самую лужу. В нее они плюют и бычки бросают, так вот туда и кровь их стекает. Адская смесь харчков, крови и иногда мочи. Ночью не церемонятся. Я и сам когда-то пьяный стоял над этой лужей и смотрел в нее. Страшная и черная. И ничего в ней не видно. Муть одна.

Знаете, что я понял однажды: мы все в этой луже. Кровь, моча, грязь и окурки. Плаваем в этом дерьме и берегов не находим.

Хочется всех сделать счастливыми. Умыть каждого, накормить и наказать виноватых, но как, когда и сам ты в луже? Лужа не высохнет без солнца. Солнце — это счастье, и счастья хочется до безумия. Счастье — это когда каждому хорошо. А иначе никак. Замечали?

МАЛЕНЬКАЯ ЛЮБОВЬ

Что отвечу женщине, спросившей: «Зачем?»

Спелая черешня на белом блюде — Катины глаза. Растертая по бумаге полоска от мягкого карандаша — Катины волосы.

Мы молчали. Разговоры придумывать не пытались. Я упирался локтем туда, где у нее, под рукой, должна прятаться полоска от лифчика, а она замирала, чувствуя мое якобы случайное прикосновение.

Катя разрешала прикосновение мне.

Если Шпала читала громче, то Катя выпрямляла спину, поднимая скромную грудь, а я прижимал руки к ребрам, как дрессированный.

На лекциях мы изображали безразличие.

— Дай последнее переписать.

Катя подсовывала тетрадь не глядя. (Почерк старательной школьницы.) Я не переписывал, а просто пялился в строчки, пытаюсь угадать, о чем мечтает их хозяйка.

Прежде чем заговорить, Катя улыбается. Красивые, ровные зубы, будто поварята в белых колпаках. Рот большой — Катю это прекрасно портит.

— Переписал?

Киваю, косясь на облезлый маникюр.

Как-то вечером я проводил ее до общежития. Проводил понарошку: брел следом, будто нам в одну сторону. Она, уверен, хотела, чтобы я догнал, а не робел, как подросток в бане. Помню, пахло жженой бумагой, и солнце меркло, и еще старые листики портили статику осеннего пейзажа. Хорошо было.

Потом, на очередной лекции, я спросил:

— Где твоя подружка, как ее там?..

— Ира?

— Да.

Ира с лапами, как у гориллы. Большое, круглое, мускулистое тело попавшей под облучение обезьянки. Дочь известного на всю область бандита. Старого уже.

— Она сломала ногу. — Катина улыбка — специальный сигнал: «Говори еще, мне нравится».

— Удивительно, — шепчу я покорно.

— Что?

— Что ее ногу можно сломать.

Свет падает на Катину лицо, и я замечаю, что Катиному сердцу нравятся мои шутки; начинаю мечтать, что это сердце безумно любит меня. Мечтаю жадно.

Шпала шипит в мой адрес, приподнимая нарисованные брови. Я прячу глаза и не смотрю на выпирающий живот престарелого доцента.

Это Шпала нам все испортила.

Вечером Катя опять рассеянная хозяйка, а я потешный отстающий щенок. Улыбаюсь и трясусь в семи метрах от волны ее угольных волос. Мимо проплывают автомобили и те люди в них, кто кроме нас. Катя останавливается и неестественно усердно роется в сумке. Я догоняю ее.

— Ты живешь рядом с общежитием? — улыбается Катя Катиным красным прекрасным ртом.

Киваю.

— Тогда идем меня провожать. — Катини глаза отражают воздух. В них собирается свет.

Нас обгоняет школьник с огромным портфелем. У него острижена голова, но на затылке пропущен пучок рыжеватых волос. Он будто наш сын.

— Какая в этом году теплая осень, да?

— Теплая, — соглашается Катя.

Ее плащ шуршит, как вода в рукомойнике.

— Ты читала «Холодную осень» Бунина?

Появляются Катини ямочки на щеках:

— Нет. Я не люблю читать.

— Я тебе перескажу.

Пересказываю плохо, незанимательно.

— Интересно, — врет Катя. — Тебе нравится этот Бунин?

— Нет. Он презирал народ, а я того народа часть.

— А я того народа часть? — тихо спрашивает Катя и Катиной рукой убирает волосы от алого рта. У нее порозовели от ветра веки.

— И ты. Один Бунин дворянин, — смеюсь. — «Дворянин» — так называют безродного пса. Пролетарская революция — это власть народа над словом.

Солнце ушло. У Кати сухой листочек в волосах. Я убираю его осторожно, будто он последняя на планете бабочка. Катя растирает листочек между ладонями, и мой бесценный подарок, расчлененный, летит к небесам.

Катя уходит в общежитие. Остаюсь один. Курю и брожу вокруг лысой клумбы, представляя, что за мной следят из окон. Выпрямляю спину и стараюсь ровно шагать. Читаю стихи сам себе тихонько.

Катя приехала из вымирающего поселка. Там стареют родители и ждет взрослый, серьезный Вова. Я его никогда не видел, но могу представить, что он брюнет, что у него короткая кожаная куртка и непременно туфли с острыми носками. Он иногда ставит ногу на колесо своей черной, конечно, машины, а у машины этой фары похожи на глаза путан. У Вовы, я думаю, клочками растет русая борода, и ногти у него такие бугристые, будто воспаленные. Знаю точно, что когда Вова волнуется, то он беспрестанно приглаживает волосы и смотрит все время в землю, увлеченный придумыванием слов. Еще, скорее всего, Вова знает много коротких матерных стихов и не знает ни одного не матерного, но это уже не точно.

Мне рассказывала в курилке Наташа про Катиного Вову, а я смотрел вдаль, на то, как унижительно испражняется дворняга. Он старше Кати на пять лет. И встречаются они с Катиного восьмого класса. Получается, Вова у Кати Катини детство забрал. Мерзавец.

Как-то Катя позвонила мне вечером. Спросила, не отменили ли пару. (Нашла у кого спросить.) Я сказал, что если отменят, то пусть она все равно приходит. Просто, мол, посидим. Она засмеялась и зачем-то сказала, что замерзли ноги. Отопление дадут только в конце ноября.

Иногда случалось, что я помогал Кате надевать Катин плащ. Она как бы ложилась на меня через него. Не знаю, зачем я это... Просто что-то боюсь упустить.

И вот это тоже: я был Катиным экскурсоводом. Показывал курилку, дешевую столовую, ларек за университетом, черный ход. В таких местах она не бывала. А еще, когда я выпустил дым кольцом, она сказала:

— Мне такое любопытно. Вова мой не курит и никогда не курил.

Жила Катя в семнадцатой комнате, но я там не был. Я только помогал ей один раз. Сумку донес с продуктами. Она купила много фруктов, баклажку чистой воды и батон белого хлеба. Катя разломилась хлеб на две части и большую половинку протянула мне. Я вцепился в подношение, кривляясь, а Катя ударила в ладоши, разулась и побежала в комнату за стаканом воды.

Катины пятки алого цвета.

Глядя в граненый стакан, я сказал:

— Будь здорова хозяйка! — Выдохнул и выпил, будто водку.

— Я тоже хотела, а ты выпил все.

Это значит, что она не брезговала мной.

— Скажи спасибо, что половину батона оставил. — Я уперся плечом в дверной проем так, будто останусь навечно.

— Спасибо! Теперь с голоду не умру! — Катя наступила одной босой ногой на другую.

Катины зрачки пульсировали, то лоя, то выпуская свет осеннего солнца, садящегося за раму окна. Наконец Катя неловко вздохнула, и я понял, что нужно идти.

В столовой мы с Катей пили какао. Его покупал я, а она оплачивала слойки с вишней.

— За что ты целуешь салфетку?

— За чистоту.

Одну салфетку, с Катинной помадой я сунул в карман джинсов. Реликвия. Можно молиться.

На ноябре на лекции случилось нечто отвратное. Я что-то у Кати спросил, и она, как всегда, улыбнулась, но Шпала ее перебила. Она остановила лекцию и сказала:

— Хватит, Катя! Я понимаю, что любовные игры важнее лекции, но возьми себя в руки. Постарайся хоть иногда смотреть в мою сторону, а не на любимого. Нашепчетесь после!

Ненужные оправдания. Воспаленные Катины глаза. Трясущиеся Катины руки. И вот она покорно опускает голову и пишет неровным почерком мертвую фразу: «Рента с пожизненным содержанием»

К следующей лекции вернулась Ирка с загипсованной ногой. Она разложила красивые костыли, задрала ногу на стул, как шлагбаум, и принялась рассказывать Кате что-то женское.

Я больше не ходил на лекции.

Мы с Катей любили друг друга не очень. Так, немножко. Примерно как дети любят котенка, которого нельзя по каким-то причинам забрать домой. Наш целомудренный роман был союзом суши и океана во время прибоа.

Противно мне, что Катя очень испугалась подозрений в симпатии ко мне. Наверное, в тот гадкий момент она вспомнила Вову, пору детской любви, девчачьи переживания. Представила свое и Вовино будущее. Испугалась, что будущего может не быть. Что вместо Вовы у нее я.

Все же я очень люблю память о Кате. Мне кажется, будто я вбежал в темницу, схватил за руку первого попавшегося ребенка, рожденного в неволе, солнца не видевшего, вывел его из укрытия ненадолго и сказал радостно: «Смотри! Солнце!» Ребенок сощурился, почувствовал, что болят глаза, плюнул и вернулся в темницу. Это я не к тому, что «солнце» — я. Я был случайностью в Катиной жизни, однако такой незапланированной случайностью, которая слепит. Мешает по-старому жить. Как литература.

Вчера мне рассказали, что Катя вышла замуж. Она живет в своем родном поселке. Там у нее работа, дом и земельный участок. Ребенок родился. Сын. Он здоров, хотя и не говорил слишком долго.

Кого бы Катя родила от меня? Уродца.

Нет, здорово, что у нее там работа, земля, Вова в туфлях, кредит, плазменный телевизор, маникюр у подружки, сериалы эти идиотские, шутки из Интернета, ну, в общем, вот это все. Программа.

Хорошо, что никакого совместного плода мы не зачали. Это даже удача. Хотя кое-что у нас и получилось — вот этот рассказ.

БЕЛГОРОД—ХАРЬКОВ

Отец сказал, что так дешевле. Я спорить не стал. Я боюсь его немного, он такой угрюмый, задумчивый. В себе все время, будто читает бесконечный стих. Остановится, замрет, а потом головой дернет и дальше живет.

Я смыл грязь с номеров жесткой щеткой, прошелся тряпкой по лобовому стеклу и вытряхнул резиновые коврики. Все это время мама была в машине на заднем сиденье, а отец сначала таскал вещи их хостела, а потом проверял документы, говорил тихонько вслух:

— Паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении, мой паспорт, справка...

Все утро мы с ним обменивались только служебными фразами, вели себя так, будто в ссоре. Да это и понятно, ведь в тех обстоятельствах, в которых мы оказались, трудно сохранять хладнокровие. Поэтому мы и молчали — боялись сорваться.

Октябрь был щедрым на холод. Я чувствовал, что может явиться первый снег. Плоское серое небо, покинутое солнцем, нависало над городом, как верхняя линия экрана в черно-белом кино.

Отец глянул на маму, пристегнутую сзади, потом повернул голову вправо ко мне. Я шнуrowал ботинки. Прокашлялся мотор «Волги», и мы поехали. Радио не включали.

Отец часто поглядывал в зеркало заднего вида, беспокоился. Я сосредотачивался на прохожих, скрюченных от холода, и думал об учебнике по природоведению, забытом в хостеле. В машине становилось тепло.

Выехали мы ближе к обеду, а в это время в Белгороде уже не бывает пробок. На выезде из города у края дороги стояла полицейская машина. Заметив салатного круглого полицейского, отец сжал губы, сбавил скорость и сказал:

— Сейчас начнется, — сказав, взглянул в зеркало.

Я тоже обернулся к маме, посмотрел на ее ручки в серых лайковых перчатках и промолчал.

Наша «Волга» не заинтересовала потового. Проехав мимо, мы свернули на главную дорогу, которая вела в сторону российско-украинской границы.

Предстояло самое сложное.

Я сказал:

— Нужно было взять мамины документы из больницы все. Карточку и остальное.

Отец, будто обрадовавшись, махнул рукой:

— Да не надо. Мы закон не нарушаем. Все документы есть. Даже лишние есть. Все будет нормально, натяни капюшон, я покурю.

Я утепился, а отец приоткрыл окно и закурил, не выпуская руль из рук. Мутный дым заполнил машину и медленно стал течь в щелку приоткрытого окна. От дыма у отца заслезилась глаза. Большим и указательным он тронул переносицу, будто поправил пенсне.

Наша «Волга» двигалась осторожно. На поворотах отец сбавлял ход. Я следил за ним и угадывал мысли, вдыхал их вместе с сигаретным дымом.

На границе была очередь. Впрочем, очень скоро мы подъехали к месту контроля. Молодые мужчины в зеленых бушлатах бегло осматривали машины, курили и прятали озябшие руки в оттопыренные карманы. Один из них таскал на цепи крепкую, чистенькую овчарку. Собака деловито обнюхивала граждан и лаяла иногда.

Отец сдал документы в окошко и повернулся ко мне лицом. Я сидел с мамой. Ждал, что будет.

— Вас двое? — спросил пограничник.

Отец поднял густые брови, глуповато улыбнулся, совсем не к месту, кашлянул, уперся руками в узкое окошко и ответил.

Я понял, что *началось*. Снял капюшон.

Высокий молодой мужчина с рыжими усиками на обветренном лице бегло пролистал пачку наших документов, потом подошел к машине, попросив открыть капот и все двери.

Отец сделал и отошел.

— Женщина, выйдите из машины. Положено выйти всем, — дергая себя за нос, командовал пограничник.

Отец вытер рукавом потрескавшиеся губы и вмешался:

— Она не может выйти. Там у вас документы, посмотрите.

— Что документы? — Пограничник стал рыться в стопке измятых листов. Порывистый ветер мешал ему.

— Что тут? — спросил другой пограничник, заглядывая в «Волгу». — Инвалид?

— Нет, — сказал отец, — она мертвая.

— Труп?!

Скоро вокруг машины собралась топа пограничников. От них стало темно, я испугался и выскочил из машины.

Сухенькая, маленькая, обтянутая ремнями безопасности, мама будто притворялась спящей, положив голову в черном платке на грудь. Ее руки в серых перчатках лежали сложенные на острых, сжатых коленях. Мы связали ей ножки ниже колен, по сапогам, чтобы она не свалилась. Ее белое лицо пряталось в воротнике пальто, но виднелись немного почерневшие губы, полноватые, целовавшие сухо мой выпуклый лоб.

Пошел дождь.

Я следил за лицами испуганных пограничников и вздрагивал от ветра. Они пялились на мою мертвую маму. Маму, отвернутую от них. Я замечал отсутствие мысли на тупых лицах прокуренных солдафонов. Они сгрудились, понурились, опустили плечи. Соображали молча. Сочиняли рассказ для затюканных жен. От кого-то я услышал осторожное слово: «трупешник».

Успевший вымокнуть отец, стоя в стороне, отвернувшись от ледяного ветра, курил смиренно, не в силах прекратить это безобразие.

Казалось, что осмотр длится целый день, не выдержав напряжения, я решил закричать что-нибудь, но мне помешала собака. Спрятав морду под тяжелые лапы, подняв к небу шарики черных глаз, она кошмарно завывала, и я уверен был, что вой ее донесся до Украины.

Нас отпустили спустя где-то час. Долго выясняли, можно ли провозить труп через границу к месту захоронения, звонили куда-то, снимали копии с документов. Отец подробно объяснял каждому новому пограничнику, что хочет похоронить маму на родине, в Харькове, что в России она проходила долгое и бесполезное лечение от рака легких. Пограничники кивали, но не торопились нас отпускать. Наконец отец сунул в неглубокий карман пограничника тысячу и сказал, преисполненный титаническим самообладанием:

— Мой сын совсем замерз, а нам еще украинскую таможду проходить. Давайте поскорее.

Нас пропустили.

Пошел мокрый снег, и утих ветер.

Я сидел в машине с мамой и пытался согреться, укрывая лицо от любопытных. Еще пытался заплакать, но так и не смог.

Открывая шлагбаум, пограничник спросил отца:

— Зачем вы ее так перевозите? По-другому никак?

Отец ответил, что так дешевле.